МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Об Освенциме писали много, но, по-моему, и сейчас каждый приезжающий туда должен о нем написать. Не для того, чтобы множились в человечестве рознь и ненависть, а чтобы стучал пепел в сердце».

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Неостывший пепел

Недавно я ездил в Освенцим, и он напомнил мне о Бухенвальде, где я был ровно десять лет назад. Тогда я написал рассказ о бывшем узнике лагеря, оставшемся там работать экскурсоводом. Он не мог расстаться с лагерем, где сгнили лучшие годы его жизни, где погибло столько товарищей. Он сам себя приговорил быть бессрочным узником Бухенвальда, его живой памятью. Я рад, что написал о нем. Но я жалею, что не написал о человеке совсем другого рода, о бывшем служащем эсэсовского городка, расположенного через дорогу от лагеря. Тогда мне было противно о нем писать, а сейчас мне кажется, что я словно провинился перед Бухенвальдом.

Об Освенциме писали много, но, по-моему, и сейчас каждый приезжающий туда должен о нем написать. Не для того, чтобы множились в человечестве рознь и ненависть, а чтобы стучал пепел в сердце. А то вот один молодой турист из Мюнхена стоял, стоял возле горы детских башмачков, — а дальше высилась гора протезов: руки, ноги, корсеты, поддерживающие позвоночники, а еще дальше — гора ржавых ночных горшков, затем оправы от очков — гора, кисточки для бритья — гора, мягкие женские волосы — гора, — так вот этот турист вдруг раздулся, как гофманский король дождевых червей, побагровел и громко заявил: чушь, вранье, социалистическая пропаганда!..

Названием Освенцим объединяют два лагеря: собственно Освенцим и лежащую поблизости Бжезинку. Первый являлся показательным лагерем, над ним осуществлял наблюдение Международный Красный Крест. Там была всего одна печь, считавшаяся столь же невинной, как печь любого добропорядочного крематория; расстреливали узников тайно, перед рассветом, за глухой стеной; камеры отапливались, спали заключенные на нарах. В лабораториях Освенцима на заключенных испытывали новые ядовитые вещества, но это было строго засекречено, так же как и страшные опыты над близнецами, как стерилизация, как производство сувениров из татуированной человеческой кожи. Красный Крест не знал о «научной» работе эсэсовских врачей, как и не знал, что в нескольких километрах от Освенцима на поле с чахлой растительностью раскинулась Бжезинка — гигантская фабрика смерти; бараки строгими рядами, — газовые камеры, печи. День и ночь циклон душил людей, печи пожирали трупы, пепел уходил в

землю Бжезинки. Но до того как комендант и создатель лагеря Рудольф Гесс обеспечил Бжезинку достаточным количеством печей, останки задушенных циклоном зарывали в землю, десятки гектаров бесплодной земли до сих пор набиты человеческими костями.

В Бжезинке не делали опытов над заключенными, их не пытали, не расстреливали, тут не существовало личной судьбы, не было и заключенного как такового, здесь было человечье месиво. Месиво копошилось на грязном полу бараков, месиво корчилось в газовых камерах, месиво поступало в печи.

В «показательном» Освенциме в заключенном разумелся человек, этого человека унижали, мучали, терзали, а иногда поощряли, томили в карцерах и в конце концов уничтожали.

Бжезинка отрицала самое понятие «человек» как некой отдельной особи. Здесь счет велся на тысячи. За время существования лагеря он «переварил» в своих газовых печах свыше четырех миллионов человек. Комендант Гесс «признал» убитыми лишь два с половиной миллиона. Он поднялся на эшафот с видом человека, над которым совершили несправедливость. Он ни в чем не раскаивался — он «честно» служил своему фюреру, — на суде не хитрил, не запирался, не заметал следов, но и не скрывал, что разочарован судьями, приписавшими ему лишние жертвы. Виселица, на которой закачался этот серьезный, исполнительный человек, до сих пор как символ возмездия стоит на границе освенцимского лагеря.

Миниатюрный Бухенвальд — прообраз остальных гитлеровских лагерей. Он возник до Второй мировой войны, его первыми обитателями были немецкие коммунисты и все недовольные нацистским режимом, а также евреи вне зависимости от их политических взглядов. С началом войны лагерь стал интернациональным. Комендант Кох по праву может считаться отцом многих лагерных обычаев и установлений. Это он изобрел сизифов труд для заключенных, доводящий людей в короткий срок до безумия или самоубийства; это он придумал утилизировать тела убитых: вырывать золотые зубы и коронки, вытапливать жир, перемалывать кости на муку для удобрений. Его жена, зеленоглазая Ильза, довела открытие мужа до совершенства: она начала набивать матрасы женскими волосами, производить изящные бювары, абажуры и книжные закладки из татуированной кожи и настольные безделушки из засушенных в песке до размеров яблока человеческих голов. Страшные медицинские опыты над заключенными тоже начались в Бухенвальде. Гесс лишь повторил их в неизмеримо большем масштабе в Освенциме.

Это не умаляет Коха как палача: Бухенвальд, расположенный впритык к Веймару, не имел пространства для расширения. Кох был первым, Гесс и другие шли по его стопам.

В гиммлеровском ведомстве считали: Кох даровит, но сорвиголова. Он был дважды приговорен к расстрелу своими же собратьями. В первый раз за то, что присвоил полтора миллиона золотых марок, конфискованных у богатых евреев, брошенных в Бухенвальд. Коху дали возможность искупить свою вину чужой кровью и направили в Люблин, где он сперва учинил резню, затем создал образцовый лагерь смерти. Его реабилитировали и вскоре наградили Железным крестом. Затем Коха командировали в Норвегию, где он расстрелял многих видных норвежских офицеров и заразился сифилисом. Болезнь он обнаружил, вернувшись в Бухенвальд, и стал лечиться у двух доморощенных врачей-заключенных. Они его вылечили и в благодарность были вывезены из Бухенвальда и расстреляны.

Но пока шло лечение, Кох наряду со всеми эсэсовцами-тыловиками сдавал кровь для фронтовых госпиталей. Он делал это, боясь, как бы начальство не проведало о его болезни. Фюрер был беспощадно строг в вопросах нравственности, когда дело касалось высших офицеров. В СС берут людей с одинаковой группой крови, и зараженная кровь бухенвальдского коменданта поступала в госпитали для эсэсовцев. Заболели сотни раненых. Не представляло особого труда установить, откуда поступает зараженная кровь. В Бухенвальд прибыла следственная комиссия. Врачи-самоучки, расстрелянные Кохом, успели доверить тайну двум-трем товарищам, и в один прекрасный, действительно прекрасный, день Кох был расстрелян в родном Бухенвальде и сожжен в печи.

Ильза Кох, судя по фотографиям, могла бы занять место в ряду психопатологических типов, иллюстрирующих известную книгу Кречмера: асимметричное, плоское лицо, тяжелый подбородок, слишком маленький нос. Но говорят, что густые, огромные неистово-рыжие волосы при изумрудном цвете глаз делали ее почти привлекательной. Она любила скакать на лошади — седло усеяно драгоценными камнями, в мундштук вделаны бриллианты, уздечка с золотой насечкой. Бывший служитель эсэсовского городка при Бухенвальде сказал мне любовно и гордо, что скачущая Кох была «прекрасна, как цирковая наездница».

С этим добрым человеком я познакомился после осмотра лагеря. Я вышел за ворота и закурил папиросу. Тут он ко мне и подошел, невзрачный человечек лет пятидесяти, в заношенном, некогда зеленом, а теперь буром военном кителе без погон и

знаков различия, хотя легкая зеленца на менее выгоревших местах указывала, что погоны и знаки когда-то были, в грязных фланелевых брюках и стоптанных замшевых туфлях. И еще на нем была почему-то наша солдатская пилотка, конечно, без звездочки. Он подошел, втянул ноздрями папиросный дым и, кашлянув, сказал: «Разрешите закурить». Я протянул ему пачку. Он как-то особенно деликатно тонкими нечистыми пальцами взял папиросу и попросил огонька. Я стал нащупывать коробок по карманам. Вежливо похохатывая, он попросил не тратить на него спичку, а позволить ему прикурить от папиросы. Я исполнил его просьбу.

Во власти впечатлений, произведенных на меня лагерем, я несколько рассеянно воспринял окружающее. За моей спиной тянулась колючая проволока, по которой прежде шел ток высокого напряжения; передо мной было шоссе, ведущее в Веймар, чуть слева, по другую сторону шоссе белели сквозь густую зелень какие-то домики, виднелся за поваленной оградой край неухоженной клумбы, заросшей сорняком.

— Теперь здесь не на что смотреть, — тихо и грустно произнес человечек в заношенном кителе. — А какое это было чудесное местечко!

Я вздрогнул, мне почему-то показалось, что, прикурив, он ушел. Человечек по-своему понял мое движение.

— Я говорю, разумеется, не о лагере. Людям плохо за колючей проволокой. Но вот городок!.. Может быть, я преувеличиваю, это простительно для старожила.

Он работал здесь с самого основания лагеря, сперва на строительстве, затем короткое время в охране, после сторожем в эсэсовском городке, что через дорогу. Ему приходилось быть не только сторожем, но и подметальщиком, и садовником, и конюшим — городок рос, и служащих постоянно не хватало. Он же на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. В человечке проснулась гордость. Он перестал искательно улыбаться, что-то холодноватое от самоуважения появилось в его стертом, сером лице, и голос зазвучал на низах пивным хриповатым достоинством. Конечно, сейчас трудно поверить, а ведь ему доводилось прислуживать самой госпоже Кох. Он держал ей стремя. Да, да, тяжелое стремя из литого золота, он клянется в том Господом Богом! — и человечек ударил себя кулаком в грудь. А как хороша была госпожа Кох в седле: черный сюртук, белые рейтузы, лакированные сапожки. Когда она давала шпоры коню, ее красные волосы разлетались по ветру и госпожа Кох была прекрасна, как цирковая наездница!..

— К нам сюда приезжали цирковые артисты, мы неплохо

жили… У нас был даже собственный зверинец с медведями, волками, лисицами, зайцами, оленями, орлами, попугайчиками, то-то радости детворе! Нет, Бухенвальд сейчас не узнать, все разрушено, сожжено, изгажено. Вам приехать бы сюда раньше, как здесь было красиво!

Я сказал, что едва ли смог бы насладиться красотами городка — с той стороны колючей проволоки его плохо видно.

Человечек не понял, смутился и разом растерял свою жалкую спесь.

— Простите, вы не знаете, что сталось с госпожой Кох? — спросил он прежним, вкрадчивым голосом.

— Она в тюрьме, в американской зоне…

После окончания войны ее предали суду как военную преступницу. Ожидая решения своей участи, она сошлась с комендантом тюрьмы, американским майором, забеременела, и смертный приговор, который ей вынесли, нельзя было привести в исполнение. Вскоре она родила и стала матерью американского гражданина. Хотя у майора и была жена в Штатах, он не отрицал своего отцовства. Генерал Клей распорядился немедленно выпустить Ильзу Кох. Это вызвало такой взрыв общественного негодования, что Клею пришлось вернуть ее за решетку. Ильзу Кох снова судили и дали ей пожизненное заключение. Но недавно в газетах появилось сообщение, будто она была выпущена и вместе с подросшим сыном уехала в Австралию. Но мне не хотелось радовать бухенвальдского старожила, и я уверенно сказал:

— Отбывает пожизненное…

Он притуманился. Не то чтоб он так был предан Ильзе Кох, но блеск ее золотого стремени озарял его судьбу. Я представил себе, как вышла из тюрьмы несколько поплывшая от лет и сидячей жизни немолодая женщина с бледным плоским лицом и поблекшими, некогда изумрудными, а теперь кошачье-зелеными глазами и огненно-рыжей копной волос. К ней подвели ее мальчика, это была их первая встреча на воле, и, растроганная, она обняла худые плечи сына теми же руками, которыми некогда в лагере обнимала пленного шведа, добровольца английских военно-воздушных сил, рослого красавца с гладкой кожей, испещренной татуировкой. Тогда ей впервые пришло в голову, на что может пригодиться такая вот чистая, гладкая кожа, разрисованная кораблями и якорями, русалками и троллями; и когда швед ей надоел, она велела содрать с него красивую кожу и своими собственными руками, равно умелыми в любви и в работе, сделала бювар в подарок Гиммлеру… А мальчик прижимался к родному, надежному телу матери и плакал от

неизведанного счастья защищенности. Потом они шли по солнечной, мягко затененной каштанами улице, их ждал пароход, синее долгое море, далекий австралийский берег, новая жизнь…

Подошел мой автобус, и я бросил недокуренную папиросу. Бухенвальдский старожил задумчиво поглядел на тлевший в пыли окурок, поднял его, обтер и сунул в рот…

И вот по прошествии стольких лет у бжезинских печей я вспомнил об этом человечишке. Наверное, это покажется странным: в громадности фабрики смерти, рядом с виселицей Гесса, спорившего с судьями, сколько миллионов жизней он истребил, думать о каком-то ничтожестве, собирателе окурков, настолько малом винтике гитлеровского рейха, что его и к уголовной ответственности не привлекли. Но мне этот подонок представляется серьезной опасностью. Он и ему подобные — это та почва, та плесень, на которой произрастали гитлеры и гессы. В своей готовности принять любое зло только потому, что оно есть, обожествить любой кровавый режим только потому, что у него сила, видеть лишь золото стремени и не замечать печной сажи, воняющей человечиной, они поистине страшны.

Страшнее тех новоявленных фюреров, которые тонкими голосами возвещают в разных концах света о своем пришествии. Ибо только собиратели окурков, стремянные Ильзы Кох могут сделать крикунов носителями рока.

Эти холопы сильной власти, шептуны-сказители, повествующие о зверушках и цветочках, о сволочном уюте на краю смертного рва, глядишь, и впрямь заставят поверить новых жителей земли, что в концентрационных лагерях сидели преступники, что век Ильзы Кох блистательней наших скромных будней. Не из подобного ли источника черпает свое знание о минувшем молодой мюнхенец, объявивший Освенцим социалистической пропагандой?..